

«Столетия текли и в вечность погружались...»*

«Историю государства Российского» Н. М. Карамзина (1766–1826) по праву можно назвать первой национальной историей России, в том смысле, который вкладывали в понятие «национальная история» образованные люди XVIII–XIX вв. Предназначенный для широкого круга читателей, труд Карамзина произвел на современников очень сильное впечатление. По словам А. С. Пушкина, «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом»**. Написанная блестящим русским литературным языком, в становление которого Карамзин внес большой вклад, «История» стала одним из выдающихся памятников не только отечественной историографии, но и словесности и продолжает пользоваться популярностью по сей день. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на полки книжных магазинов: репринтные, иллюстрированные, адаптированные издания «Истории» представлены на них довольно широко. Особенно увеличилось их число, как и в целом внимание к наследию Карамзина, в связи с 250-летием со дня его рождения в 2016 г. Поэтому необходимо пояснить, какова цель предлагаемого издания и в чем заключаются его особенности на фоне остальных.

При обращении к тексту «Истории» современный читатель испытывает целый ряд затруднений. Сочинение Карамзина довольно велико по объему. Карамзин начал

* Из стихотворения Н. М. Карамзина «Поэзия» (1787).

** Пушкин А. С. (Из автобиографических записок) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 12. М.; Л., 1949. С. 305.

работать над «Историей» с 1800 г., когда он был официально назначен историографом*, и продолжал свой труд до самой смерти. Итогом стало 12-томное сочинение, в котором повествование было доведено до событий 1611 г. Публикация «Истории» началась с 1816 г.; последний, не завершенный Карамзиным 12-й том впервые был опубликован уже после смерти автора, в 1829 г. В нашем издании текст печатается в сокращении: были выбраны те фрагменты сочинения Карамзина, которые сам автор в предисловии обозначил как наиболее любопытные и значимые страницы отечественной истории. При их отборе мы старались равномерно представить читателю все тома «Истории» (за исключением незавершенного двенадцатого). Отдельные главы приводятся почти без купюр, чтобы у читателя оставалось законченное впечатление от знакомства с ними.

Хотя при таком подходе ощущается некоторая «разорванность» текста, нужно отметить, что «полное» издание сочинения Карамзина представляет собой определенную проблему. Дело в том, что неотъемлемой частью «Истории» являются обширные примечания Карамзина, объем которых немногим уступает объему основного текста. В примечания Карамзин выносил не только ссылки на исторические источники, но и те обширные фрагменты из них, о содержании которых в основном тексте зачастую лишь кратко упоминалось, добавляя критику сведений из источников, рассуждения о различных версиях событий, полемику с авторами других исторических сочинений — словом, значительную часть того, что в исторической науке составляет исследовательскую часть работы. «Множество сделанных мною примечаний и выпуск устрашает меня самого», — писал Карамзин в предисловии. Отме-

* Звание историографа в Российской империи XVIII — начала XIX в. предполагало работу по написанию официальной истории, подразумевало возможность свободного использования архивов государственных учреждений и значительное жалованье. Однако постоянной должности историографа не существовало, после Карамзина это звание более никому не присваивалось.

тим, что примечания не только дополняют и уточняют труд Карамзина, но и имеют самостоятельную исследовательскую ценность. В них содержатся отрывки из многих источников, впоследствии безвозвратно утраченных, главным образом во время пожаров Москвы 1812 г., когда погибли многие частные собрания древних рукописей (в том числе московская библиотека самого Карамзина), архивы государственных учреждений, собрание Общества истории и древностей российских. В результате сведения о многих документах и памятниках древней русской литературы, содержащиеся в примечаниях к «Истории», приобрели уникальный характер. В качестве самого яркого примера можно указать на знаменитую Троицкую летопись начала XV в., текст которой впоследствии реконструировался на основе карамзинских «примечаний и выписок»*. Между тем в первых изданиях «Истории» примечания публиковались в сильно сокращенном виде. Только в середине XIX в. увидело свет действительно «полное» издание: типография Санкт-Петербургской академии наук выпустила подготовленную известным издателем А. Ф. Смирдиным «Историю государства Российского» в 10 книгах: 1–6-я книги содержали основной текст (по два тома на книгу), а 7–10-я книги — примечания (по одной книге на три тома)**. До настоящего времени это издание остается уникальным.

В XX в. консервативные взгляды Карамзина не соответствовали официальным идеологическим установкам советской науки, значение его личности и вклада в изучение русской истории искусственно принижалось, а интерес к его творчеству был уделом узкого круга профессиональных историков и литературоведов. О переиздании «Истории» в этих условиях не могло быть и речи вплоть до эпохи перестройки***. Только в конце 1980-х гг. издательст-

* См.: Присёлков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.; Л., 1950.

** Карамзин Н. М. Сочинения. История государства Российского: В 10 кн. СПб., 1851–1853.

*** Выборочное издание отдельных частей «Истории» см.: Карамзин Н. М. Предания веков / Сост. Г. П. Макогоненко. М., 1988.

во «Наука» предприняло попытку полного научного издания «Истории», но этот проект затянулся на долгие годы и так и не был до конца реализован (вышло только 6 томов)*. Все же прочие многочисленные современные издания «Истории» являются воспроизведением публикаций XIX в., и примечания в них приводятся выборочно или отсутствуют.

В нашем сокращенном издании мы не имели возможности опубликовать примечания Карамзина, но отчасти постарались компенсировать это в комментариях, чтобы у читателя была возможность получить представление и об этой части «Истории».

Необходимость отразить содержание примечаний была лишь одной из причин составления комментария. Нельзя забывать, что «История» создавалась два века назад, поэтому сегодня восприятие ее содержания во многом затруднено. Во-первых, адресуясь к своим современникам, Карамзин, естественно, не находил нужным пояснить актуальные для его времени реалии: географические названия (например, отдельных исторических областей Российской империи или населенных пунктов, которые к настоящему времени называются совершенно иначе или вовсе исчезли), культурные объекты (например, существовавшие в начале XIX в. церкви и монастыри, гражданские постройки Москвы и других городов: наименования многих из них мало что говорят сегодня даже опытным краеведам), бытовые, религиозные и хозяйствственные явления и традиции, смысл которых перестал быть очевидным к нашему времени. Существенно изменился и характер общекультурного кругозора читателя «Истории». К настоящему времени, как правило, утратили актуальность многие сочинения и авторы, упоминаемые Карамзиным. Образованный человек начала XIX в. в целом гораздо лучше нашего современника был подготовлен к восприятию примеров из античной и библейской истории, которых немало на страницах «Истории», а также

* Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1–6. М., 1989–1998.

имел значительно больший багаж фактических знаний по европейской истории Средневековья и начала Нового времени, лучше ориентировался в прошлом аристократических российских фамилий (а подчас и принадлежал к потомкам тех бояр и князей, которые действуют на страницах сочинения Карамзина). Все это мы постарались учсть в комментариях, направленных, таким образом, на облегчение восприятия современным читателем карамзинского текста.

Во-вторых, совершенно неверным, на наш взгляд, является нередко встречающееся сейчас отношение к сочинению Карамзина как к некоему учебнику по русской истории. «История государства Российского» является монументальным трудом, и его значение выходит далеко за рамки учебной литературы. Не случайно в предисловии Карамзин упоминает об аналогичных фундаментальных работах по истории других европейских стран, подчеркивая уровень своего сочинения: ничего подобного на тот момент в России еще не было написано. То обстоятельство, что отечественная историческая наука в начале XIX в. находилась на этапе своего становления, никак не облегчало Карамзину его труд. Не упрощает это и задачу, стоящую перед читателем: при всех достоинствах слога Карамзина для того, чтобы понимать его «Историю», ее надо изучать.

Не должно вводить в заблуждение практически полное отсутствие в основном тексте «Истории» упоминаний о профессиональных историках России XVIII – начала XIX в. Заметим, что сам Карамзин, несмотря на официальное звание историографа, к их числу может быть отнесен только с некоторыми оговорками: он не получил специального образования, не имел профессорского звания, не занимался преподавательской деятельностью и не писал работ по отдельным вопросам истории России. В предисловии он называет только А. Л. Шлецера (1735–1809), являвшегося к началу XIX в. крупнейшим специалистом по русской истории. Однако из примечаний видно, насколько глубоким было знакомство Карамзина с работами

предшественников, на которые он опирался при написании своего труда: помимо исследований Шлецера, чаще всего упоминаются работы В. Н. Татищева (1686–1750) и Г. Ф. Миллера (1705–1783), но можно с уверенностью утверждать, что в XVIII в. не было отечественных или иностранных сочинений по древней и средневековой российской истории, которые остались бы неизвестными Карамзину и не были учтены им при написании «Истории». В годы ее создания Карамзин находился в тесном взаимодействии с различными представителями отечественной науки, например с профессорами Московского университета Х. А. Чеботаревым (1745/46–1815) и Н. Е. Черепановым (1762–1823), внимательно следил за новыми публикациями. В частности, существенное влияние на Карамзина оказала капитальная работа Шлецера «Нестор», посвященная интерпретации текстов Повести временных лет и реконструкции древнейшего периода отечественной истории*. Поэтому в комментарии включены замечания, позволяющие судить о месте «Истории» в современной Карамзину исторической науке.

Еще более важно при знакомстве с «Историей государства Российского» учитывать, что во многом Карамзин явился первопроходцем. Если вопрос о возникновении Древнерусского государства, проблема публикации ряда важнейших отечественных исторических источников активно обсуждались в XVIII – начале XIX в., то о большинстве ключевых сюжетов отечественной истории (от христианизации Древней Руси до Смутного времени) на тот момент не было специальных исследований. Более того, многие признанные теперь основными исторические источники не были введены в научный оборот и критики осмыслены. В последнем заслуга Карамзина особенно велика. Однако широта охвата материала в сочетании с недостатком исследовательской подготовки Карамзина и отсутствием предварительной полноценной научной

* *Schlözer A. L. Nestor: Russische Annalen in ihrer Slavischen Grundsprache. Th. 5. Göttingen, 1802–1809;* русский перевод был опубликован в 1809 г.

полемики повлияли на значимость многих его выводов и построений (еще раз отметим, что в примечаниях Карамзин часто указывает на возможность иных интерпретаций сведений из источников, отбирая для основного текста те из них, которые представляются ему наиболее правдоподобными). Критические отзывы на отдельные положения его «Истории» появились сразу после первых ее публикаций, и тем более естественно, что за прошедшие 200 лет отечественное историческое источниковедение, историческая наука в целом проделали огромный путь и многие утверждения и гипотезы Карамзина сегодня представляются серьезно устаревшими или принципиально неверными. Наиболее существенные из подобных случаев также отмечаются в комментариях.

Наконец, при обращении к «Истории» следует учитывать, что в этом сочинении отразилась многогранность личности Карамзина — не только талантливого писателя, переводчика, исследователя древних рукописей, но и известного общественного деятеля, сыгравшего важнейшую роль в становлении российского консерватизма*. На протяжении всей «Истории государства Российского» Карамзин постоянно обращается к тому, что для него и его современников было сущностью этого государства — самодержавной власти. Именно формирование и развитие самодержавия в сочинении Карамзина осмысливается как ключевой процесс российской государственной истории: само ее начало — это одновременно и рождение самодержавной власти. Кризисные эпохи и события (смуты, междоусобные распри, иноземное владычество, тяжелые военные поражения) оказываются следствием ослабления самодержавия (не важно, из-за удельного раздробления или тирании Ивана Грозного), и, напротив, его торжество становится залогом интеграции государственной терри-

* Развернуто свои взгляды Карамзин изложил в сочинении «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», которое было написано им для Александра I в 1811 г. Однако это сочинение долгое время оставалось малоизвестным и впервые полностью было опубликовано только в начале XX в.

тории, роста военного, экономического и международного могущества, проведения мудрой государственной политики, направленной на прогрессивное общественное развитие. Эта концепция, рассмотренная в контексте многовековой отечественной истории и освященная авторитетом первой национальной истории России, не только стала в дальнейшем одной из основ официальной консервативной идеологии Российской империи, но во многом послужила отправной точкой для интенсивных философских, исторических и общественно-политических дискуссий, которые имели огромное значение для интеллектуалов, политиков, государственных и общественных деятелей России в XIX — начале XX в. и для ее исторической судьбы. В этом, пожалуй, в первую очередь заключается ценность «Истории государства Российского» как памятника своей эпохи для современного читателя.

A. Веселова, M. Милютин

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

*История
государства
Российского*

Предисловие

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счаствие.

Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному, и дикому. На славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления

букв, народы уже любят историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере и дееписанию; омраченный густой сению невежества, народ с жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созиная царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая история, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний¹: тем более отечественная. Истинный космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всеобщая история великими воспоминаниями украшает мир для ума, а российская украшает отчество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них происходило! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины Ельца, Козельска, Галича делаются любо-

пытными памятниками и немые предметы — красноречивыми. Тени минувших столетий везде рисуют картины перед нами.

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствующа от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть русским, надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле не известные, внеся их в общую систему географии, истории, и просветил Божественною верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего.

Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей, ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время меж-

доцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы *Храбрые*, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверский, столь знаменитый великодушною смертию, злополучный; истинно мужественный Александр Невский; герой-юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере, не знаю монарха достойнейшего жить и сиять в ее святынище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный своего счаствия и несчастия, странный Лжедимитрий и за сонмом доблестенных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и царь Алексий, мудрый отец императора, коего назвала великим Европа. Или вся Новая история должна безмолвствовать, или российская имеет право на внимание.

Знаю, что битвы нашего удельного междуусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца; но история не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные.

Не будем суеверны в нашем высоком понятии о дееписаниях древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидисова вымышенные речи, что останется? Голый рассказ о междуусобии греческих городов:

толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дома. Не много разности, если забудем, что сии полутигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы трагедии и статуи Фидиасовы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, несущую пепел Германника; с жалостию на рассеянные в лесу кости и доспехи легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки республиканских добродетелей в столице мира; но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой некролог римских чиновников занимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее половецких набегов. Одним словом, чтение всех историй требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием.

Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать *обстоятельное повествование* с Иоаннова времени или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателя. Но сии *обозрения*, сии *картины* не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново введение² в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен. Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть дей-

ствия и действующих — тогда знаем историю. Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготавливают наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноzemцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории; но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?.. Так я мыслил и писал об *Игорях*, о *Всеволодах* как *современник*, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если вместо живых, целых образов представлял единственно *тени*, в *отрывках*, то не моя вина: я не мог дополнять летописи!

Есть *три* рода истории: *первая* современная, например Фукидова, где очевидный свидетель говорит о проишествиях; *вторая*, как Таситова, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время; *третья* извлекается только из памятников, как наша до самого XVIII века*. В *первой* и *второй* блестает ум, воображение дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения; скажет: *я так видел, так слышал* — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. *Третий* род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали, — или справедливая критика загадит уста

* Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания: мы слыхали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елизавете многое, чего нет в книгах. (Примеч. Н. М. Карамзина.)

легкомысленному историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. Древние имели право вымышлять *rечи* согласно с характером людей, с обстоятельствами: право, неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению аббата Мабли³, не можем ныне витийствовать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизмененные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть *могло*. Но история, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примес лжи, однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и действиях. Тем взыскательнее и строже критика; тем непозволительнее историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного,

чтобы искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом.

Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе: вот главное! Знание всех прав на свете, ученость немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыслие Макиавеллово в историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, немцы Иоанном Мюллером⁴, и справедливо*: оба суть достойные совместники древних, — не подражатели, ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному бытописателю. «Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте!» есть правило гения. Хотел ли Мюллер, часто вставляя в рассказ нравственные апофегмы, уподобиться Тациту? Не знаю; но сие желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апофегмы бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть *дог* бытописателя, а хорошая отдельная мысль — *дар*: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скучности умеренный в размышлениях, — историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он не излишно чуждался Англии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творе-

* Говорю единственno о тех, которые писали целую историю народов. Феррeras, Даниель, Масков, Далин, Маллет⁵ не равняются с сими двумя историками; но, усердно хваля Мюllера (историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступление, которое можно назвать геологическою поэмой.

ния! В Фукидиде видим всегда афинского грека, в Ливии всегда римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство: *мы, наше*, оживляет повествование — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству даст его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души.

Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках: искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычай, законы, промышленность; не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени, и характер летописцев, ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственою физиognомиею. Прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор наш в созерцании великого пространства не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?

Читатель заметит, что описываю действия *не врознь*, по годам и дням, но *совокупляю* их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не летописец: последний

смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место.

Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы древние: они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение, — тягостная жертва, приносимая достоверности, однако же необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть их в рукописях, в темноте; когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено — надобно вооружиться терпением. В воле читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Для охотников все бывает любопытно: старое имя, слово; малейшая черта древности дает повод к соображениям. С XV века уже менее выписываю: источники размножаются и делаются яснее.

Муж ученый и славный, Шлецер сказал, что наша история имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа рождающею (*Nascens*), от Ярослава до моголов разделенною (*Divisa*), от Батыя до Иоанна III угнетенною (*Opressa*), от Иоанна до Петра Великого победоносною (*Victrix*), от Петра до Екатерины II процветающею. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. 2) Государство делилось и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время великого князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век Самозванцев означенован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на древнейшую — от Рю-

рика до Иоанна III, на среднюю — от Иоанна до Петра и новую — от Петра до Александра. Система уделов была характером *первой* эпохи, единовластие — *второй*, изменение гражданских обычаев — *третьей*. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым уро-чищем.

С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей.

Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы од-но любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Декабря 7, 1815